

ФИЛОСОФИЯ ПОЧВЕННОЧЕСТВА АПОЛЛОНА ГРИГОРЬЕВА

Статья посвящена исследованию философских корней почвенничества А.А. Григорьева. При этом особое внимание уделяется отличию философского мировоззрения Григорьева от взглядов других представителей этого идейного течения середины XIX века, а также от славянофильства.

Ключевые слова: почвенничество, славянофильство, непосредственность, демократизм, нигилизм, народность, соборность, творчество.

Возникновение и сущность философии почвенничества – вопрос до настоящего времени требующий внимательного изучения. В формировании идеи почвенничества, «хотя и поблекшей скоро, но ставшей одно время лозунгом целого поколения» [8, с. 387], – как писал В.В. Зеньковский, ключевую роль сыграли такие деятели отечественной культуры как Ф.М. Достоевский, А.А. Григорьев, Н.Н. Страхов. Масштаб личности Ф.М. Достоевского как философа переоценить трудно, но вот о других «почвенниках» пишут как о «второстепенных фигурах в истории русской мысли» [9, с. 87]. Наверное, это справедливо. Здесь можно провести интересную, на наш взгляд, параллель: в середине XIX века, отмечая появление большого количества молодых поэтов, Некрасов в журнале «Современник» завел новую рубрику под названием «Русские второстепенные поэты». Некрасов имел в виду, что, хотя таких крупных фигур, какими были А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов, в тогдашней литературе уже не было, тем не менее, творчество А.А. Фета, А.Н. Майкова, Ф.И. Тютчева, Я. Полонского и других, тоже заслуживало того, чтобы с ним была знакома читающая публика. То же самое можно сказать и о философском творчестве А.А. Григорьева и Н.Н. Страхова, оно тоже заслуживает пристального изучения.

Оба мыслителя были людьми разносторонних знаний и философского склада ума, но, в силу разного рода обстоятельств, не сумевших в полной мере раскрыть свои таланты. Между ними возникли тесные дружеские отношения, и, хотя влияние А.А. Григорьева на молодого товарища было несомненным, оба сохранили яркую индивидуальность. Н.Н. Страхов был первым, кто взял на себя труд сохранять и пропагандировать литературно-философское наследие Григорьева.

Отношения А.А. Григорьева и братьев Достоевских, в журнале которых печатался критик, отличались сложностью и противоречивостью. С одной стороны, несомненен их взаимный интерес и идейное родство, а с другой стороны, нет никаких оснований неоправданно сближать их взгляды. Исследуя такие особенности почвенничества Ф.М. Достоевского, как «пламенный мессионизм», «христианский натурализм», В.В. Зеньковский, например, пишет, что «почвенничество» Аполлона Григорьева имело «несколько иной смысл» [9, с. 117]. Обращая внимание на это обстоятельство, Гвидо Карпи пишет: «С первого взгляда почвенничество представляет собой разнородное и эклектичное явление, союз личностей, соединенных только одним участием в издательских предприятиях братьев Достоевских, но идеологически глубоко чуждых друг другу: несмотря на посредническое влияние Достоевского в период расцвета движения (1861 – начало 1863 года) публицисты позитивистского склада вроде А. Разина имеют мало общего с неославянофилами типа Ап. Григорьева и Н.Н. Страхова» [6, с. 161]. Вот почему правильно будет говорить не о «философии почвенничества» вообще, а о философских идеях каждого из представителей почвенничества. В настоящей статье предпринята попытка проанализировать философские воззрения А.А. Григорьева. Поскольку исторические, этические, эстетические взгляды мыслителя нами рассматривались ранее, постольку в центре внимания будет собственно философская идея, лежащая в основании почвенничества Григорьева.

Почвенничество как идейное течение возникло в то время, когда усилиями Николая I и его приближенных развитие общественной жизни, мысли, литературы, а также философии всячески тормозилось. Так, в качестве одной из

реакционных мер после революции во Франции 1848–1849 гг. Николай I по представлению министра народного просвещения князя П.А. Ширинского-Шихматова, считавшего, что «польза от философии весьма сомнительна, а вред очевиден», запретил преподавание в университетах теории познания, метафизики, нравоучительной философии и истории философии. Сохранялись логика и психология, но их преподавание было передано духовным лицам. В 1850 году философский факультет был совсем ликвидирован, а на его базе появилось два факультета: историко-филологический и физико-математический, но кафедра философии в их структуре отсутствовала. В это время наблюдалось усиление деятельности цензуры. Все эти меры не могли, в конечном счете, не привести к деградации и обмелению тем, идей и форм. Недаром Григорьев называет этот период русской истории как «наше отвыкшее от отвлеченного мышления время» [4, с. 230].

С другой стороны, все большее влияние на умственную жизнь русского общества оказывали вульгарно-материалистические и атеистические идеи, являющиеся неотъемлемой частью радикально-демократических теорий. Григорьев сразу ощутил враждебность этого направления общественной и философской мысли своим убеждениям. По этой причине он даже требовал изгнания Н.Г. Чернышевского из «Современника», с которым собирался сотрудничать, о чем писал в своем письме к В.П. Боткину в апреле 1856 года [см. 1, с. 112]. На фоне нарастающего равнодушия к «отвлеченной мысли» и враждебности к религиозной, интерес Григорьева к православию и философии, действительно, был «несвоевременным», в чем сам он вполне отдавал себе отчет. Стремление к философскому осмыслению мира в целом, а также интерес к самой философии, ее направлениям и основным учениям – очень характерная черта творчества русского мыслителя. При этом по складу своего ума, своего дарования, своих способностей он не был в состоянии развить свои идеи в какую-то законченную философскую систему. Почти все его проекты остались только планами, – незаконченными, не начатыми, потерянными.

Мировоззрение будущего критика складывалось в атмосфере московского романтизма 30-х годов. Стихи М.Ю. Лермонтова и Н.П. Огарева, журналистика Н.А. Полевого, критика В.Г.

Белинского и театральная игра П.С. Мочалова оказали огромное влияние на формирование его взглядов. По настоянию родителей, людей практических и озабоченных тем, чтобы дать сыну профессию, которая могла бы «кормить», юный Григорьев поступает на юридический факультет Московского университета. Учился будущий мыслитель прекрасно, но юриспруденция не стала делом жизни, да и не могла стать. Трудно найти другого человека столь же далекого от формальных способов организации жизни, каким был Григорьев. Учеба в Московском университете – время серьезных занятий историей и философией. В это время вокруг Григорьева сложился кружок его близких друзей, среди которых были и молодой историк Сергей Соловьев, и будущие поэты Афанасий Фет и Яков Полонский. Молодых людей не увлекали общественно-политические вопросы подобно тому, как это происходило в студенческих кружках Н.В. Станкевича и А.И. Герцена. Они предпочитали поэтические и философские занятия.

В студенческие же годы Григорьев познакомился с философией Артура Шопенгауэра, которым увлекался Афанасий Фет, квартировавший в доме Григорьевых. Но Шопенгауэр был, как известно, заклятым врагом Гегеля и его диалектики, а Гегель и Шеллинг в то время как раз пленяли воображение молодых ученых. Об этом писал сам Григорьев в «Моих литературных и нравственных скитальчествах»: «Сила в том, что трансцендентализм был *силой*, был веянием, уносившим за собою все, что только способно было мыслить во дни оны. Все то, что только способно было чувствовать, уносило другое веяние, которое за недостатком другого слова надобно назвать романтизмом. В сущности то и другое – трансцендентализм и романтизм – были две стороны одного и того же» [2, с. 269]. На всю жизнь мыслитель сохранил глубокое уважение к Гегелю, называл его великим философом, а его учение считал богатством, которое надобно еще разрабатывать. От Гегеля Григорьев усвоил вкус к философскому осмыслению мира в целом, но рационализм его не принял и даже осуждал его в своих друзьях. Так, дружба с С.М. Соловьевым прекратилась в середине 50-х годов по причине гегельянства и западничества историка. Шеллинга Григорьев вообще считал своим кумиром. Увлечение немецкой классической философией навсегда оставило

след в творчестве Григорьева, хотя в дальнейшем он неоднократно подвергал критике учения великих философов. Русский мыслитель начал свою публицистическую деятельность в сороковые годы, «тот момент XIX века, когда шеллингова философия, по словам В.Ф. Одоевского, перестала удовлетворять искателей истины, и они разбрелись в разные стороны». Самого В.Ф. Одоевского увлекли идеи новоевропейских мистиков: Сен-Мартена, Арндта, Портреджа, Баадера и других. Появляется у него интерес и к мистической традиции исихазма.

Григорьев избежал увлечения мистикой. Он быстро обнаружил ее ложь. В письме к С.М. Соловьеву от 20 декабря 1842 года мыслитель пишет: «Надобно тебе сказать, что я с жадностью бросился на всех мистиков, каких только нашел у нас в библиотеке, и особенно на Бема; результатом этого было убеждение, что мистицизм так же почти далек от Истины Христа, как и Пантеизм, что поклонение внутреннему миру человека оставляет в душе ту же пустоту, как и поклонение миру внешнему» [1, с. 5].

От изучения немецких классиков Григорьев переходит к изучению их последователей, например, английского философа Сэмюэла Кольриджа и шеллингианца Томаса Карлейля, которого он характеризует как «поэтически глубокомысленного и до некоторого провидения возвышающегося» философа.

Материализм как философское течение Григорьев связывал с изучением природы, чем занимается и наука. Но сам он, по его же словам, оставался «наглым гуманистом» и этими вопросами не интересовался, хотя и признавал существование и уважал мнение «настоящих специалистов материализма», с которыми сходился в оценке «так называемого нигилизма» как «отрывки материализма». Считая нигилизм действительно «новым явлением духовной жизни» [3, с. 138], Григорьев настаивает на существование у него метафизических предпосылок, которые сами нигилисты отрицают: «Не искренен даже и так называемый нигилизм, — пишет Григорьев, — тщательно скрывая от себя, что он тоже идет поневоле путем обобщения, что для принятия его «Kraft und Stoff» нужно не меньше веры, чем для принятия какого-нибудь браминского догмата, — с тою разницей, что за догмат браминов стоял некогда перед разумом целый громадный мифологический процесс, а

за догмат «Kraft und Stoff», кроме плохой и поверхностной, с точки зрения настоящих специалистов материализма, книжки, ровно ничего не стоит» [3, с. 139]. С идеями вульгарных материалистов Бюхнера и Мошотта Григорьев, очевидно, был достаточно знаком. Обращают на себя внимание и ссылки в статьях Григорьева на труды позитивистов, например, Стюарта Милля, с идеями которого критик хотя и не соглашается, но все же считает его «замечательным английским мыслителем» [3, с. 154].

Считая себя человеком «трансцендентальной» закваски, Григорьев оставался равнодушен к модным течениям современной ему научной и околону научной мысли. Так, его нимало не интересовали «психологические скиццы» и другие сочинения «ясного и методом естественных наук идущего Бенеке», рекомендованного ему товарищем по «молодой редакции» «Москвитянина» Е.Н. Эдельсоном. Труды этого модного ученого психолога, которого философом назвать, по словам Григорьева, у него «язык не поворачивается», были ему не интересны и навевали только скуку. Другое дело — штудировать «Феноменологию духа» Гегеля или «Философию мифологии» Шеллинга: «...сидишь весь углубленный в чтение того или другого из безумных искателей и показывателей абсолютного хвоста... сидишь, и голова пылает, и сердце бьется — не от вторгающихся в раскрытое окно с ванильно-наркотическим воздухом призывов весны и жизни..., а от тех громадных миров, связанных целостью, которые органическая мысль, или тяжело, мучительно роешься в возникших сомнениях, способных разбить все здание старых душевных и нравственных верований... и физически болеешь, худеешь, желтеешь от этого процесса... О! эти муки и боли души — как они были отравительно сладки! О! эти бессонные ночи, в которые с рыданием падалось на колена с жадною молитвою и мгновенно же анализом подрывалась способность к молитве, — ночи умственных беснований вплоть до рассвета и звона заутреней — о, как они высоко подымали душевный строй!..» [2, с. 268].

«Если поступательное движение русской мысли шло от Шеллинга к Гегелю и затем к Фейербаху (таков и путь Белинского, как бы в сжатом виде предсказавший магистральный путь всей русской мысли XIX века), то Григорьев, пережив юношеское увлечение Гегелем, навсегда делается

убежденным и стойким приверженцем Шеллинга» [3, с. 10-11]. Соглашаясь с этим замечанием А. Журавлевой, хотелось бы все же отметить, что и гегелевская философия не была забыта русским мыслителем совсем, хотя бы по той простой причине, что «и содержание гегелизма и содержание шеллинизма, как содержание вообще философии, безгранично широко и в сущности едино...», да и философию Шеллинга Григорьев вовсе не рассматривал как догму, оставляя возможность дальнейших философских поисков. Так, определяя историческое воззрение как гегелевскую формулировку обнаруженной «новой силы, силы исторического чувства», Григорьев восклицает: «Пусть не удалась ее формула, то есть историческое воззрение, – это ничего не значит. Может быть, еще несколько попыток формулирования не удадутся, как не удалось даже Шеллингу формулировать окончательно» [4, с. 49-50].

Не только в юности, но и много позже, Григорьев живо интересовался философией. Например, находясь в Оренбурге, он писал своему другу Н.Н. Страхову: «Жду я с нетерпением книжки «Времени». Меня ужасно интересует статья твоя из Куно Фишера о Спинозином Боге и другая, по всей вероятности твоя же, об индюшках и Гегеле» [1, с. 264].

Из русских мыслителей Григорьев был чрезвычайно близок к славянофилам, особенно к А.С. Хомякову и И.В. Киреевскому. О Киреевском Григорьев говорит как об «уединенном и строго логическом мыслителе», авторе «первого философского обозрения нашей словесности» [4, с. 73], а сочинения А.С. Хомякова называет в числе книг, принадлежащих органической критике. О А.С. Хомякове Григорьев писал как о мыслителе, который «изо всего славянофильства он один был настоящий, урожденный поэт, провидец, vates». Еще отмечал, «что, несмотря на самый светлый ум критический, широта его захвата временами впадает, и очень нередко, в нечто стихийное, в нечто такое, что, сказавшись, не исчерпывается и представляет громадные перспективы для дальнейшей разработки» [3, с. 164]. Не без основания почвенничество не просто считается идейно близким славянофильству – оно генетически с ним связано.

Обращает на себя внимание также глубокое знание Григорьевым всей истории русской мысли. Князь М.М. Щербатов, А.Н. Радищев, Н.М. Карамзин, Н.И. Новиков, П.Я. Чаадаев – каждо-

му деятелю отечественной культуры Григорьев дает яркую характеристику и находит место в развитии русской духовности. Поэтому невозможно согласиться с выводом о том, что Григорьев не глубоко изучил пласты европейской духовной традиции [11, с. 220]. Создаваемая им философия почвенничества была тесно связана со всеми философскими учениями первой половины XIX века. Она и сама принадлежит этой эпохе, а ее создатель, безусловно, был «человеком сороковых годов», из числа тех «лишних людей», которые, по словам Г. Флоровского, «создали жизненную публицистику, настоящую литературную критику, наконец, они же наполнили ряды художников слова. И вот, эти «промотавшиеся отцы» «обманутых детей» явились подлинными родителями русской культуры..., у них было свое «дело», правда, так сказать, «невесомое», дело выработки русской мысли» [10, с. 33].

Аполлон Григорьев занимает особенное место в этой плеяде людей «сороковых годов» – последний из их числа, «последний романтик», как он сам себя назовет. Это был человек сложной организации. «Черты призвания («проклятья иль избрания») сквозят в облике Григорьева. Есть постоянное какое-то бледное мерцание за его жизнью» [7, с. 362], – писал о нем А. Блок. Это обстоятельство объясняет интерес к личности и судьбе мыслителя, который проявляют исследователи его творчества: «...В григорьевской душе копались» [7, с. 361]. Понять строй мыслей Григорьева, отвлекшись от его живой личности, трудно, это – верно, тем более что, сами эти мысли в строй их автор никогда и не выстраивал, и по причине «халатности» характера и потому что, будучи романтиком, тяготел к несистематичности и афористичности изложения идей. Следовательно, строго объективный подход, требующий как раз отвлечения от живой личности мыслителя при исследовании творчества Григорьева, становится просто невозможным. Создать, как это требует объективистский подход, самодовлеющий мир слов, образов и идей, когда образы выводятся из образов же, а одни идеи из других же идей, это значит создать голую схему, пустую и бессодержательную, ничего не дающую для понимания идейного зерна почвенничества русского мыслителя. Ключ к такому пониманию – в уяснении отношения Григорьева к его современникам и прежде всего к старшим товарищам – сла-

вянофилам, его отношения к важнейшим вопросам того времени, наконец, в понимании особенности личности самого мыслителя. Кем-то очень верно замечено, что, если в юности человек не сочувствует народу, не готов встать на сторону поработанного и страдающего, то у него не все в порядке с сердцем, а, если к старости не стал консерватором, то у него не все в порядке с головой. До старости Григорьев не дожил – он умер сорокалетним, а вот сердце у него действительно было горячее и отзывчивое.

Первые самостоятельные шаги по жизни привели юношу к масонам и петрашевцам. Как у всякого русского человека, мысль у него не могла разъединяться с жизнью, и, хотя революционером Григорьев не стал, но «Демократизм» и «Непосредственность» навсегда стали принципами его творческой и личной жизни. Даже в христианстве Григорьев ценил, прежде всего, «его плебейский характер, его *вседоступность*» [1, с. 6]. Многие объясняет одно из ранних стихотворений поэта [2, с. 36]:

Нет, не рожден я биться лбом,
 Ни терпеливо ждать в передней,
 Ни есть за княжеским столом,
 Ни с умилением слушать бредни.
 Нет, не рожден я быть рабом.
 Мне даже в церкви за обедней
 Бывает скверно, каюсь в том,
 Прослушать августейший дом.
 И то, что чувствовал Марат,
 Порой способен понимать я,
 И будь сам Бог аристократ,
 Ему б я гордо пел проклятья.
 Но на кресте распятый Бог
 Был сын толпы и демагог.

Такая народность поэта уходит корнями в детство, прошедшее в тихих улочках Замоскворечья и Таганки. Мальчика окружала многочисленная дворня, которая рано познакомила его и с миром суеверий и преданий, возбуждавшим нервы и дававшим работу необузданной фантазии, и со всеми «тонкостями крепкой русской речи». «Вообще кучера Василия во многих отношениях я должен считать своим воспитателем, почти наполовину с моим первым учителем... Но была и хорошая, была даже святая сторона в этом сближении с народом, с его даже попорченными элементами» [2, с. 235], – писал

Григорьев в «Моих литературных и нравственных скитальчествах». Благодаря этой стороне писатель не унаследовал семейного чувства дворянской амбиции, твердо помня и своего деда, который «не родился помещиком, а сделался им, да и то под конец своей жизни, многодельной и многотрудной». Помнил он и то, что мать его была дочерью кучера, а сам он провел первые месяцы своей жизни в сиротском доме как незаконнорожденный, пока не был усыновлен своими собственными родителями. Григорьеву не надо было «приобщаться» к народной жизни – он ее никогда и не оставлял. «Мы – народ» [1, с. 128], – называл он себя и своих товарищей по редакции «Москвитянина».

Григорьев знал народный быт со всех сторон – и хороших и плохих. В своем письме к Гоголю он позволил себе обратить внимание великого художника на необходимость различать между женщинами светскими и женщинами среднего и низшего круга. «Наши женщины, – писал Григорьев, – едва ли не исключительно воспитываются для хозяйства, едва ли не во вред всем человеческим сторонам заняты домашним порядком: кругозор их слишком тесен, понятие о долге слишком ограничено или опошлено» [1, с. 34]. Семейная жизнь простого народа груба и идеализировать ее, как это делали славянофилы, было бы неправильно.

С несогласия со славянофильской трактовкой русского народного быта начинается григорьевское знакомство с идеями Киреевского. Самого мыслителя привлекала в народе как раз та «непосредственность», которая стала вторым принципом его жизнедеятельности. Непосредственность понималась Григорьевым как способность жить естественной жизнью, чувствовать красоту природы и любовно относиться ко всякому живому существу. Эта способность по большей части была утрачена образованным обществом, но в народе она сохранилась. Народная масса сохраняет инстинктивное чувство, чувство жизни, веру в жизнь. ««Дитя тысячеглавое» достаточно развито, то есть снабжено общим чутьем добра и правды». «В нем, в «тысячеглавом дитяти», даже чувство красоты есть, только смутное» [3, с. 364], – писал Григорьев о способности народа к восприятию искусства. Если так, то непосредственность для Григорьева – это такое состояние познающей души, когда многое улавливается без воли и расчета, без

особых усилий само приходит к нам. Воспевая непосредственность, сам Григорьев как многие романтики не хотел остаться только с нею. Ему нужны были и великое искусство Шекспира, Гете, Байрона, Пушкина и достижения философской мысли, которые высоко поднимаются над всякой непосредственностью. И все же ему очень пришлась по душе идея А.С. Хомякова о том, что истина открывается не сознанию отдельного индивида, а соборному сознанию многих личностей. Правда, народ не может найти соответствующих этому содержанию высоких форм. Поэтому народное творчество «растительно» по форме, но верно по содержанию. Гений художника как раз и проявляется в возможности придания этому высокому содержанию совершенной художественной формы. Талант художника дается ему Богом, но как личность, он рождается и формируется в определенную эпоху, в той или иной стране, местности. И все это художник вносит в свое творчество. В отличие от романтиков Григорьев рассматривает художественное творчество как дело общее, жизненное, народное, даже местное. Художник «творит не один, и творчество его не есть только личное, хотя, с другой стороны, и не безличное, не без участия его души совершающееся» [1, с. 43]. Для Григорьева это чрезвычайно важно: искусство творится по меркам души человеческой, абсолютное содержание которой и есть та истина, которая открывается соборному сознанию. Эта «правда души человеческой», хранимая народом, находит в высоких произведениях искусства адекватное ей выражение.

Но народ, по мнению русского мыслителя, способен к спонтанному, «органическому» творчеству не только в культурной, но и общественной сфере. Причем природа культурного и социального творчества одна и та же. Эту идею Григорьев отстаивает в споре между «родовиками» и «общинниками», представлявшими два направления трактовки русской истории и русского быта. Все построения «родовиков», по мнению критика, являются просто приложением гегелевской философии к истории России. Поэтому для «родовиков» народ – пассивная масса, погруженная в косность «родового быта», организуемая и управляемая из бюрократического центра. Напротив, для «общинников», к которым, кроме Григорьева, принадлежали Островский, Потехин, Писемский, Стахович, Погодин, народ – изначально

но самостоятельный и самоуправляемый общественный организм. Результатом такого исторического творчества русского народа явилось, по мнению Григорьева, не феодальное государство XVII века, но областной феодализм эпохи уделов. В статье 1859 года «Взгляд на Историю России, соч. С. Соловьева» мыслитель указывает период, являющийся как бы парадигмой «органической» модели развития русской истории, к которой русская государственность циклически возвращается: «Была минута, когда все это, до сих пор еще старой задержавшееся жизнью живущее стихийное – развивалось само из себя – мучительными, но блестящими борьбами выработывало из себя и для себя свой центр. Эта минута есть XII век и начало XIII...» [5, с. 14]. Позже Григорьев упрекает Карамзина в том, что он «не понял федеративной идеи, блестящую минуту развития которой представляет наш XII век и которую, без «попущения» божия в виде татар, ждало великое будущее, не понял городской жизни и значения князей как нарядников» [3, с. 196].

Как видно, почвенничество Григорьева имеет более богатую социальную базу, чем почвенничество славянофилов. Об этом сам мыслитель писал А.И. Кошелеву: «Убежденные, как вы же, что залог будущего России хранится только в классах народа, сохранившего веру, нравы, язык отцов, – в классах, не тронутых фальшью цивилизации, мы не берем таковым исключительно одно крестьянство: в классе среднем, промышленном, купеческом по преимуществу, видим старую извечную Русь, с ее дурным и хорошим, с ее самобытностью» [1, с. 106]. Велики творческие силы народа, если им нет выхода – они его найдут. Григорьев приводит пример раскола, считая, что это явление имеет основания более глубокие, чем считается официально. Поэтому так важно духовно и материально раскрепостить творческие силы народа, и критик от всей души приветствует отмену крепостного права.

Признавая свое родство со славянофилами, Григорьев разделял с ними также главное убеждение в том, что в истории России православие теснейшим образом было связано с народным бытом и народными традициями, что оно неотделимо от многих сторон национальной культуры и русской мысли. Православие само является главнейшим выражением народного духа, о чем много писал мыслитель. Другое дело, как писал В.В. Зеньковский, «на почве

Православия никогда не было какого-либо обязательного или даже рекомендуемого церковным людям мировоззрения <...> На русской почве верность догматическим основам Православия легко соединялась с различными фило-

софскими симпатиями» [8, с. 386]. Этим объясняется, на наш взгляд, такое широкое использование философских идей западных и русских мыслителей, какое мы находим в творчестве Аполлона Григорьева.

5.12.2011

Список литературы:

1. Григорьев, А.А. Письма / А.А. Григорьев. – М.: Наука, 1999. – 473 с. – ISBN 5-02-011678-5.
2. Григорьев, А.А. Поэзия. Проза. Воспоминания / А.А. Григорьев. А. Фет. – М.: СЛОВО/ SLOVO, 2000. – 656 с. – ISBN 5-85050-426-X.
3. Григорьев, А.А. Эстетика и критика / А.А. Григорьев. – М.: Искусство, 1980. – 496 с.
4. Григорьев, А.А. Искусство и нравственность / А.А. Григорьев. – М.: Современник, 1986. – 334 с.
5. Григорьев, А.А. Взгляд на Историю России, соч. С. Соловьева / А.А. Григорьев // Русское слово. – 1859. – №1.
6. Гвидо Карпи. Почвенничество и федерализм / Гвидо Карпи // Вопросы литературы. – 2004. – №4. – С. 158 - 170.
7. Блок, А. Судьба Аполлона Григорьева // А. Блок. Собрание сочинений. В 6-ти т. Т. 5. – М.: «Правда», 1971. – 558 с.
8. Зеньковский, В.В. История русской философии / В.В. Зеньковский. – М.: Академический проект, Раритет, 2001. – 880 с. – ISBN 5-8291-0127-0.
9. Зеньковский, В.В. Русские мыслители и Европа / В.В. Зеньковский. – М.: Республика, 2005. – 368 с. – ISBN 5- 250-01904-8.
10. Флоровский, Г.В. Вечное и преходящее в учении русских славянофилов // Флоровский Г.В. Из прошлого русской мысли. – М.: «Аграф», 1998. – 432 с. - ISBN 5-7784-0033-0.
11. История русской философии / под ред. М.А. Маслина. – изд. 2-е. – М.: КДУ, 2008. – 638 с. – ISBN 978-5-98227-300-0.

Сведения об авторе:

Писарчик Татьяна Петровна, доцент кафедры истории философии
Оренбургского государственного университета, кандидат философских наук, доцент
460018, г. Оренбург, пр. Победы, 13, ауд. 2309, тел. (3532) 372573, e-mail: leonidtp@yandex.ru